

Лев Николаевич Толстой

Семейное счастье

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Лев Николаевич Толстой

Семейное счастье / Лев Николаевич Толстой – М.: Книга по Требованию, 2011. – 58 с.

ISBN 978-5-4241-2425-9

Творчество великого русского писателя Льва Николаевича Толстого пользуется любовью читателей всего мира. Его произведения вошли в сокровищницу мировой литературы.

Талант писателя многогранен, романы и повести Л. Толстого, детские рассказы и философские произведения, письма и дневники с особой остротой отразили общечеловеческие и сугубо российские проблемы.

ISBN 978-5-4241-2425-9

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Лев Николаевич Толстой
Семейное счастье

Часть первая

I

Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне, одни с Катей и Соней.

Катя была старый друг дома, гувернантка, вынянчившая всех нас, и которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом покровском доме. Погода была холодная, ветреная, так что сугробы намело выше окон; окна почти всегда были замерзлы и тусклы, и почти целую зиму мы никуда не ходили и не ездили. Редко кто приезжал к нам; да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости в нашем доме. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то, не смеялись, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платье. В доме еще как будто чувствовалась смерть; печаль и ужас смерти стояли в воздухе. Комната мамы была заперта, и мне становилось жутко, и что-то тянуло меня заглянуть в эту холодную и пустую комнату, когда я проходила спать мимо нее.

Мне было тогда семнадцать лет, и в самый год своей смерти мамаша хотела переехать в город, чтобы вывезить меня. Потеря матери была для меня сильным горем, но должна признаться, что из-за этого горя чувствовалось и то, что я молода, хороша, как все мне говорили, а вот вторую зиму даром, в уединении, убиваю в деревне. Перед концом зимы это чувство тоски одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепьяно и не брала книги в руки. Когда Катя уговаривала меня заняться тем или другим, я отвечала: не хочется, не могу, а в душе мне говорилось: зачем? Зачем что-нибудь делать, когда так даром пропадает мое лучшее время? Зачем? А на *зачем* не было другого ответа, как слезы.

Мне говорили, что я похудела и подурнела в это время, но это даже не занимало меня. Зачем? для кого? Мне казалось, что вся моя жизнь так и должна пройти в этой одинокой глуши и беспомощной тоске, из которой я сама, одна, не имела силы и даже желаний выйти. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решила во что бы то ни стало везти меня за границу. Но для этого нужны были деньги, а мы почти не знали, что у нас осталось после матери, и с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобрать наши дела.

В марте приехал опекун.

– Ну и слава богу! – сказала мне раз Катя, когда я как тень, без дела, без мысли, без желаний, ходила из угла в угол, – Сергей Михайлыч приехал, присылал спросить о нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка, – прибавила она, – а то что он о тебе подумает? Он так вас любил всех.

Сергей Михайлыч был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Кроме того, что его приезд изменял наши планы и давал возможность уехать из деревни, я с детства привыкла любить и уважать его, и Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что изо всех знакомых мне бы больше всего было перед Сергеем Михайлычем показаться в невыгодном свете. Кроме того, что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, его крестницы, до последнего

кучера, любили его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей. Она сказала, что такого мужа желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно; герой мой был совсем другой. Герой мой был тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлыч был человек уже немолодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый; но, несмотря на то, эти слова мамыши запали мне в воображение, и еще шесть лет тому назад, когда мне было одиннадцать лет и он говорил мне *ты*, играл со мной и прозвал меня *девочка-фиалка*, я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, ежели он вдруг захочет жениться на мне?

Перед обедом, к которому Катя прибавила пирожное крем и соус из шпината, Сергей Михайлыч приехал. Я видела в окно, как он подъезжал к дому в маленьких санках, но, как только он заехал за угол, я поспешила в гостиную и хотела притвориться, что совсем не ожидала его. Но, слышав в передней стук ног, его громкий голос и шаги Кати, я не утерпела и сама пошла ему навстречу. Он, держа Катю за руку, громко говорил и улыбался. Увидев меня, он остановился и несколько времени смотрел на меня, не кланяясь. Мне стало неловко, и я почувствовала, что покраснела.

– Ах! неужели это вы? – сказал он с своею решительною и простою манерой, разводя руками и подходя ко мне. – Можно ли так перемениться! как вы выросли! Вот те и фиалка! Вы целый розан стали.

Он взял своею большою рукой меня за руку и пожал так крепко, честно, только что не больно. Я думала, что он поцелует мою руку, и нагнулась было к нему, но он еще раз пожал мне руку и прямо в глаза посмотрел своим твердым и веселым взглядом.

Я шесть лет не видала его. Он много переменился; постарел, почернел и оброс бакенбардами, что очень не шло к нему; но те же были простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская, улыбка.

Через пять минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду.

Он вел себя совсем не так, как соседи, приезжавшие после кончины матушки и считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас; он, напротив, был разговорчив, весел и ни слова не говорил о матушке, так что сначала это равнодушие мне показалось странно и даже неприлично со стороны такого близкого человека. Но потом я поняла, что это было не равнодушие, а искренность, и была благодарна за нее.

Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше; мы с Соней сели около нее; старый Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскавшуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате.

– Сколько страшных перемен в этом доме, как подумаешь! – сказал он, останавливаясь.

– Да, – сказала Катя со вздохом и, прикрыв самовар крышечкой, посмотрела на него, уж готовая расплакаться.

– Вы, я думаю, помните вашего отца? – обратился он ко мне.

– Мало, – отвечала я.

– А как бы вам теперь хорошо было бы с ним! – проговорил он, тихо и задумчиво глядя на мою голову выше моих глаз. – Я очень любил вашего отца! – прибавил он еще тише, и мне показалось, что глаза его стали блестящее.

– А тут ее бог взял! – проговорила Катя и тотчас же положила салфетку на чайник, достала платок и заплакала.

– Да, страшные перемены в этом доме, – повторил он, отвернувшись. – Соня, покажи игрушки, – прибавил он через несколько времени и вышел в залу. Полными слез глазами я посмотрела на Катю, когда он вышел.

– Это такой славный друг! – сказала она. И действительно, как-то тепло и хорошо стало мне от сочувствия этого чужого и хорошего человека.

Из гостиной слышался писк Сони и его возня с нею. Я выслала ему чай; и слышно было, как он сел за фортепьяно и Сониными ручонками стал бить по клавишам.

– Марья Александровна! – послышался его голос. – Подите сюда, сыграйте что-нибудь.

Мне приятно было, что он так просто и дружески-повелительно обращается ко мне; я встала и подошла к нему.

– Вот это сыграйте, – сказал он, раскрывая тетрадь Бетховена на адажио сонаты quasi una fantasia. – Посмотрим, как-то вы играете, – прибавил он и отошел с стаканом в угол залы.

Почему-то я почувствовала, что с ним мне невозможно отказываться и делать предисловия, что я дурно играю; я покорно села за клавикорды и начала играть, как умела, хотя и боялась суда, зная, что он понимает и любит музыку. Адажио было в тоне того чувства воспоминания, которое было вызвано разговором за чаем, и я сыграла, кажется, порядочно. Но *скерцо* он мне не дал играть. «Нет, это вы нехорошо играете, – сказал он, подходя ко мне, – это оставьте, а первое недурно. Вы, кажется, понимаете музыку». Эта умеренная похвала так обрадовала меня, что я даже покраснела. Мне так ново и приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со мной один на один серьезно, а уже не как с ребенком, как прежде. Катя пошла наверх укладывать Соню, и мы вдвоем остались в зале.

Он рассказывал мне про моего отца, про то, как он сошелся с ним, как они весело жили когда-то, когда еще я сидела за книгами и игрушками; и отец мой в его рассказах в первый раз представлялся мне простым и милым человеком, каким я не знала его до сих пор. Он расспрашивал меня тоже про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, и давал советы. Он был теперь для меня не шутник и весельчак, дразнивший меня и делавший игрушки, а человек серьезный, простой и любящий, к которому я чувствовала невольное уважение и симпатию. Мне было легко, приятно, и вместе с тем я чувствовала невольную напряженность, говоря с ним. Я боялась за каждое свое слово; мне так хотелось самой заслужить его любовь, которая уж была приобретена мною только за то, что я была дочь моего отца.

Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажаловалась ему на мою апатию, про которую я ничего не сказала.

– Самого-то главного она и не рассказала мне, – сказал он, улыбаясь и укоризненно качая на меня головой.

– Что ж рассказывать! – сказала я, – это очень скучно, да и пройдет. (Мне действительно казалось теперь, что не только пройдет моя тоска, но что она уже прошла и что ее никогда не было.)

– Это хорошо не уметь переносить одиночества, – сказал он, – неужели вы – барышня?

– Разумеется, барышня, – отвечала я, смеясь.

– Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любят, а как только одна осталась, так и опустилась, и ничто ей не мило; все только для показу, а для себя ничего.

– Хорошего вы мнения обо мне, – сказала я, чтобы сказать что-нибудь.

– Нет! – проговорил он, помолчав немного, – недаром вы похожи на вашего отца, в вас *есть*, — и его добрый, внимательный взгляд снова польстил мне и радостно смутил меня.

Только теперь я заметила из-за его на первое впечатление веселого лица этот ему одному принадлежащий взгляд – сначала ясный, а потом все более и более внимательный и несколько грустный.

– Вам не должно и нельзя скучать, – сказал он, – у вас есть музыка, которую вы понимаете, книги, ученье, у вас целая жизнь впереди, к которой теперь только и можно готовиться, чтобы потом не жалеть. Через год уж поздно будет.

Он говорил со мной, как отец или дядя, и я чувствовала, что он беспрестанно удерживается, чтобы быть наравне со мною. Мне было и обидно, что он считает меня ниже себя, и приятно, что для одной меня он считает нужным стараться быть другим.

Остальной вечер он о делах говорил с Катей.

– Ну, прощайте, любезные друзья, – сказал он, вставая и подходя ко мне и взяв меня за руку.

– Когда же увидимся опять? – спросила Катя.

– Весной, – отвечал он, продолжая держать меня за руку, – теперь поеду в Даниловку (наша другая деревня); узнаю там, устрою, что могу, заеду в Москву – уж по своим делам, а лето будем видеться.

– Ну что ж это вы так надолго? – сказала я ужасно грустно; и действительно, я надеялась уже видеть его каждый день, и мне так вдруг жалко стало и страшно, что опять вернется моя тоска. Должно быть, это выразилось в моем взгляде и тоне.

– Да; побольше занимайтесь, не хандрите, – сказал он, как мне показалось, слишком холодно-простым тоном. – А весною я вас проэкзаменую, – прибавил он, выпуская мою руку и не глядя на меня.

В передней, где мы стояли, провожая его, он заторопился, надевая шубу, и опять обошел меня взглядом. «Напрасно он старается! – подумала я. – Неужели он думает, что мне уж так приятно, чтоб он смотрел на меня? Он хороший человек, очень хороший... но и только».

Однако в этот вечер мы с Катей долго не засыпали и все говорили, не о нем, а о том, как проведем нынешнее лето, где и как будем жить зиму. Страшный вопрос: зачем? – уже не представлялся мне. Мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливою, и в будущем представлялось много счастья. Как будто вдруг наш старый, мрачный покровский дом наполнил себя жизнью и светом.

II

Между тем пришла весна. Прежняя тоска моя прошла и заменилась весеннею мечтательною тоскою непонятных надежд и желаний. Хотя я жила не так, как в начале зимы, а занималась и Соней, и музыкой, и чтением, я часто уходила в сад и долго, долго бродила одна по аллеям или сидела на скамейке, бог знает о чем думая, чего желая и надеясь. Иногда и целые ночи, особенно месячные, я просиживала до утра у окна своей комнаты, иногда в одной кофточке, потихоньку от Кати, выходила в сад и по росе бегала до пруда, и один раз вышла даже в поле и одна ночью обошла весь сад кругом.

Теперь мне трудно вспомнить и понять те мечты, которые тогда наполняли мое воображение. Даже когда я вспомню, мне не верится, чтобы точно это были мои мечты. Так они были странны и далеки от жизни.

В конце мая Сергей Михайлыч, как и обещал, вернулся из своей поездки.

В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. Мы сидели на террасе и собирались пить чай. Сад уже был весь в зелени, в заросших клумбах уже поселились соловьи на все петровки. Кудрявые кусты сирени кое-где как будто посыпаны были сверху чем-то белым и лиловым. Это цветы готовились распускаться. Листва березовой аллеи была вся прозрачна на заходящем солнце. На террасе была свежая тень. Сильная вечерняя роса должна была лечь на траву. На дворе за садом слышались последние звуки дня, шум пригнанного стада; дурачок Никон ездил с бочкой перед террасой по дорожке, и холодная струя воды из лейки кругами чернила вскопанную землю около стволов георгин и подпорок. У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светловычищенный самовар, стояли сливки, крендельки, печенья. Катя пухлыми руками домо-вито перемывала чашки. Я, не дожидаясь чая и проголодавшись после кушанья, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая, еще через окно, увидала его.

– А! Сергей Михайлыч! – проговорила она, – а мы только что про вас говорили.

Я встала и хотела уйти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях.

– Ну что за церемонии в деревне, – сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь, – ведь вам не совестно Григория, а я, право, для вас Григорий. – Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко.

– Я сейчас приду, – сказала я, уходя от него.

– Чем же это дурно! – прокричал он мне вслед, – точно молодайка крестьянская.

«Как он странно посмотрел на меня, – думала я, торопливо переодеваясь наверху. – Ну слава богу, что он приехал, веселей будет!» И, посмотревшись в зеркало, весело сбежала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить. Дела наши, по его словам, были в отличном положении. Теперь нам надо было только лето пробыть в деревне, а потом ехать или в Петербург, для воспитания Сони, или за границу.

– Да вот ежели бы вы с нами за границу поехали, – сказала Катя, – а то мы одни как в лесу там будем.

– Ах! как бы я с вами вокруг света поехал, – сказал он полушутя, полусерьезно.

– Так что ж, – сказала я, – поедemте вокруг света. Он улыбнулся и покачал головой.

– А матушка? А дела? – сказал он. – Ну да не в том дело, расскажите-ка, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?

Когда я ему рассказала, что без него занималась и не скучала, и Катя подтвердила мои слова, он похвалил меня и словами и взглядом обласкал, как ребенка, как будто имел на то право. Мне казалось необходимо подробно и особенно искренно сообщать ему все, что я делала хорошего, в признаваться, как на исповеди, во всем, чем он мог быть недоволен. Вечер был так хорош, что чай унесли, а мы остались на террасе, и разговор был так занимателен для меня, что я и не заметила, как понемногу затихли вокруг вас людские звуки. Отовсюду сильнее запахло цветами, обильная роса облила траву, соловей защелкал недалеко в кусте сирени и затих, услышав наши голоса; звездное небо как будто опустилось над нами.

Я заметила, что уже смеркалось, только потому, что летучая мышь вдруг беззвучно влетела под парусину террасы и затрепыхалась около моего белого платка. Я прижалась к стене и хотела уже вскрикнуть, но мышь так же беззвучно и быстро вынырнула из-под навеса и скрылась в полутьме сада.

– Как я люблю ваше Покровское, – сказал он, прерывая разговор. – Так бы всю жизнь и сидел тут на террасе.

– Ну что ж, и сидите, – сказала Катя.

– Да, сидите, – проговорил он, – жизнь не сидит.

– Что вы не женитесь? – сказала Катя. – Вы бы отличный муж были.

– Оттого, что я люблю сидеть, – засмеялся он. – Нет, Катерина Карловна, нам с вами уж не жениться. На меня уж давно все перестали смотреть, как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно, и с тех пор мне так хорошо стало, право.

Мне показалось, что он как-то неестественно-увлекательно говорит это.

– Вот хорошо! тридцать шесть лет, уж и отжил, – сказала Катя.

– Да еще как отжил, – продолжал он, – только сидеть и хочется. А чтоб жениться, надо другое. Вот спросите-ка у нее, – прибавил он, головой указывая на меня. – Вот этих женить надо. А мы с вами будем на них радоваться.

В тоне его была затаенная грусть и напряженность, не укpывшиеся от меня. Он помолчал немного; ни я, ни Катя ничего не сказали.

– Ну представьте себе, – продолжал он, повернувшись на стуле, – ежели бы я вдруг женился, каким-нибудь несчастным случаем, на семнадцатилетней девочке, хоть на Маш... на Марье Александровне. Это прекрасный пример, я очень рад, что это так выходит... и это самый лучший пример.

Я засмеялась и никак не понимала, чему он так рад и что такое так выходит...

– Ну скажите по правде, руку на сердце, – сказал он, шутливо обращаясь ко мне, – разве не было бы для вас несчастье соединить свою жизнь с человеком старым, отжившим, который только сидеть хочет, тогда как у вас там бог знает что бродит, чего хочется.

Мне неловко стало, я молчала, не зная, что ответить.

– Ведь я не делаю вам предложенья, – сказал он, смеясь, – но по правде ска-

жите, ведь не о таком муже вы мечтаете, когда по вечерам одни гуляете по аллее; и ведь это было бы несчастье?

– Не несчастье... – начала я.

– Ну, а нехорошо, – докончил он.

– Да, но ведь я могу ошиба... Но опять он перебил меня.

– Ну вот видите, и она совершенно права, и я благодарен ей за искренность и очень рад, что у нас был этот разговор. Да мало этого, для меня бы это было величайшее несчастье, – прибавил он.

– Какой вы чудак, ничего не переменялись, – сказала Катя и вышла с террасы, чтобы велеть накрывать ужин.

Мы оба затихли после ухода Кати, и вокруг нас все было тихо. Только соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, а по-ночному, неторопливо, спокойно, заливался на весь сад, и другой снизу от оврага, в первый раз нынешний вечер, издали откликнулся ему. Ближайший замолк, как будто прислушался на минуту, и еще резче и напряженнее залился пересыпчатою звонкою трелью. И царственно-спокойно раздавались эти голоса в ихнем чуждом для нас ночном мире. Садовник прошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах, все удаляясь, прозвучали по дорожке. Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой, и все опять затихло. Чуть слышно заколебался лист, полохнулось полотно террасы, и, колеблясь в воздухе, донеслось что-то пахучее на террасу и разлилось по ней. Мне неловко было молчать после того, что было сказано, но что сказать, я не знала. Я посмотрела на него. Блестящие глаза в полутьме оглянулись на меня.

– Отлично жить на свете! – проговорил он. Я вздохнула отчего-то.

– Что?

– Отлично жить на свете! – повторила я. И опять мы замолчали, и мне опять стало неловко. Мне все приходило в голову, что я огорчила его, согласившись с ним, что он стар, и хотела утешить его, но не знала, как сделать это.

– Однако прощайте, – сказал он, вставая, – матушка ждет меня к ужину. Я почти не видал ее нынче.

– А я хотела сыграть вам новую сонату, – сказала я.

– В другой раз, – сказал он холодно, как мне показалось.

– Прощайте.

Мне еще больше показалось теперь, что я огорчила его, и стало жалко. Мы с Катей проводили его до крыльца и постояли на дворе, глядя по дороге, по которой он скрылся. Когда затих уже топот его лошади, я пошла кругом на террасу и опять стала смотреть в сад, и в росистом тумане, в котором стояли ночные звуки, долго еще видела и слышала все то, что хотела видеть и слышать.

Он приехал в другой, в третий раз, и неловкость, происшедшая от странного разговора, бывшего между нами, совершенно исчезла и больше не возобновлялась. В продолжение всего лета он два-три в неделю приезжал к нам; и я привыкла к нему так, что, когда он долго не приезжал, мне казалось неловко жить одной, и я сердилась на него и находила, что он дурно поступает, оставляя меня. Он обращался со мной, как с молодым любимым товарищем, расспрашивал меня, вызывал на самую задушевную откровенность, давал советы, поощрял, иногда бранил и останавливал. Но, несмотря на все его старанье постоянно быть наравне со мною, я чувствовала, что за тем, что я понимала в нем, оставался еще

целью чужой мир, в который он не считал нужным впускать меня, и это-то сильнее всего поддерживало во мне уважение и притягивало к нему. Я знала от Кати и от соседей, что, кроме забот о старой матери, с которой он жил, кроме своего хозяйства и нашего опекуинства, у него были какие-то дворянские дела, за которые ему делали большие неприятности; но как он смотрел на все это, какие были его убеждения, планы, надежды, я никогда ничего не могла узнать от него. Как только я наводила разговор на его дела, он морщился своим особенным манером, как будто говоря: «Полноте, пожалуйста, что вам до этого», – и переводил разговор на другое. Сначала это оскорбляло меня, но потом я так привыкла к тому, что мы всегда говорили только о вещах, касающихся меня, что уже находила это естественным.

Что также сначала не нравилось мне, а потом, напротив, сделалось приятно, – было его совершенное равнодушие и как бы презрение к моей наружности. Он никогда ни взглядом, ни словом не намекал мне на то, что я хороша, а, напротив, морщился и смеялся, когда при нем называли меня хорошенькою. Он даже любил находить во мне наружные недостатки и дразнил меня ими. Модные платья и прически, в которые Катя любила наряжать меня по торжественным дням, вызывали только его насмешки, огорчавшие добрую Катю и сначала сбивавшие меня с толку. Катя, решившая в своем уме, что я ему нравлюсь, никак не могла понять, как не любить, чтобы нравящаяся женщина выказывалась в самом выгодном свете. Я же скоро поняла, чего ему было надо. Ему хотелось верить, что во мне нет кокетства. И когда я поняла это, во мне действительно не осталось и тени кокетства нарядов, причесок, движений; но зато явилось, белыми нитками шитое, кокетство простоты, в то время как я еще не могла быть проста. Я знала, что он любит меня, – как ребенка или как женщину, я еще не спрашивала себя; я дорожила этою любовью, и, чувствуя, что он считает меня самую лучшую девушкою в мире, я не могла не желать, чтоб этот обман оставался в нем. И я невольно обманывала его. Но, обманывая его, и сама становилась лучше. Я чувствовала, как лучше и достойнее мне было выказывать перед ним лучшие стороны своей души, чем тела. Мои волосы, руки, лицо, привычки, какие бы они ни были, хорошие или дурные, мне казалось, он сразу оценил и знал так, что я ничего, кроме желания обмана, не могла прибавить к своей наружности. Души же моей он не знал; потому что любил ее, потому что в то самое время она росла и развивалась, и тут-то я могла обманывать и обманывала его. И как легко мне стало с ним, когда я ясно поняла это! Эти беспричинные смущения, стесненность движений совершенно исчезли во мне. Я чувствовала, что спереди ли, сбоку ли, сидя или стоя он видит меня, с волосами кверху или книзу, – он знал всю меня и, мне казалось, был доволен мною, какою я была. Я думаю, что ежели бы он, против своих привычек, как другие, вдруг сказал мне, что у меня прекрасное лицо, я бы даже несколько не была рада. Но зато как отраднo и светло на душе становилось мне, когда он после какого-нибудь моего слова, пристально поглядев на меня, говорил тронутым голосом, которому старался дать шуточный тон:

– Да, да, в вас *есть*. Вы славная девушка, это я должен сказать вам.

И ведь за что я получала тогда такие награды, наполнявшие мое сердце гордостью и весельем? За то, что я говорила, что сочувствую любви старого Григорья к своей внучке, или за то, что до слез трогалась прочитанным стихотвореньем или романом, или за то, что предпочитала Моцарта Шубльгофу. И удивительно,